

# Владимир Владимирович Маяковский

---

150 000 000

*Поэма*

150 000 000 мастера этой поэмы имя.

Пуля — ритм.

Рифма — огонь из здания в здание.

150 000 000 говорят губами моими.

Ротационной шагов

в булыжном верже площадей

напечатано это издание.

Кто спросит луну?

Кто солнце к ответу притянет —

чего

ночи и дни чините!?

Кто назовет земли гениального автора?

Так

и этой

моей

поэмы

никто не сочинитель.

И идея одна у нее —

сиять в наступающее завтра.

В этом самом году,

в этот день и час,

под землей,

на земле,

по небу

и выше —

такие появились

плакаты,

летучки,

афиши:

«ВСЕМ!  
ВСЕМ!  
ВСЕМ!

Всем,  
кто больше не может!  
Вместе  
выйдите  
и идите!»

*(подписи):*

МЕСТЬ — ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР.  
ГОЛОД — РАСПОРЯДИТЕЛЬ.  
ШТЫК.  
БРАУНИНГ.  
БОМБА.

*(три  
подписи:  
секретари).*

Идем!  
Идемидем!  
Го, го,  
го, го, го, го,  
го, го!  
Спадают!

Ванька!

Керенок подсунь-ка в лапоть!

Босому, что ли, на митинг ляпать?

Пропала Россеичка!

Загубили бедную!

Новую найдем Россию.

Всехсветную!

Иде-е-е-е-м!

Он сидит раззолоченный

за чаем

с птифур.

Я приду к нему

в холере.

Я приду к нему

в тифу.

Я приду к нему,  
я скажу ему:  
«Вильсон, мол,  
Вудро,  
хочешь крови моей ведро?  
И ты увидишь...»  
До самого дойдем  
до Ллойд-Джорджа —  
скажем ему:  
«Послушай,  
Жоржа...»  
— До него дойдешь!  
До него океаны.  
Страшен,  
как же,  
российский одёр им.  
— Ничего!  
Дойдем пешкодером!  
Идемидем! —  
Будилась призывом,  
из лесов  
спросонок,  
лезла сила зверей и зверят.  
Визжал придавленный слоном поросенок.  
Щенки выстраивались в щенячий ряд.  
Невыносим человеческий крик.  
Но зверий  
душу веревкой сворачивал.  
(Я вам переведу звериный рык,  
если вы не знаете языка зверячьего):  
«Слушай,  
Вильсон,  
заплывший в сале!  
Вина людей —  
наказание дай им.  
Но мы  
не подписывали договора в Версале.  
Мы,  
зверье,  
за что голодаем?







вонзенные в клятвенном единодушье.

Поэтов,

старавшихся выть поднебесней,  
забудьте,

эти слушайте песни:

«Мы пришли сквозь столицы,

сквозь тундры прорвались,

прошагали сквозь грязи и лужищи.

Мы пришли, миллионы,

миллионы трудящихся,

миллионы работающих и служащих.

Мы пришли из квартир,

мы сбежали со складов,

из пассажиров, пожаром озаренных.

Мы пришли, миллионы,

миллионы вещей,

изуродованных,

сломаных,

разоренных.

Мы спустились с гор,

мы из леса сползлись,

от полей, годами глоданных.

Мы пришли,

миллионы,

миллионы скотов,

одичавших,

тупых,

голодных.

Мы пришли,

миллионы,

безбожников,

язычников

и атеистов —

биясь

лбом,

ржавым железом,

полем —

все

истово

господу богу помолимся.





Пули, погуще!  
По оробелым!  
В гущу бегущим  
грянь, парабеллум!

Самое это!  
С донышка душ!  
Жаром,  
                  жженьем,  
  железом,  
  светом,

жарь,  
          жги,  
                  режь,  
                                  рушь!

Наши ноги —  
                                  поездов молниеносные проходы.

Наши руки —  
                                  пыль сдувающие веера полян.

Наши плавники — пароходы.

Наши крылья — аэроплан.

Идти!  
          Лететь!  
                          Проплывать!  
  Катиться! —  
всего мирозданья проверяя реестр.  
Нужная вещь —  
                                  хорошо,  
  годится.

Ненужная —  
                                  к черту!  
  Черный крест.

Мы  
          тебя доконаем,  
                                  мир-романтик!

Вместо вер —  
                                  в душе  
  электричество,  
  пар.

Вместо нищих —  
                                  всех миров богатство прикарманьте!

Стар — убивать.

На пепельницы черепá!

В диком разгроме  
старое смыв,  
новый разгрóбим  
по миру миф.  
Время-ограду  
взломим ногами.  
Тысячу радуг  
в небе нагаммим.

В новом свете раскроются

поэтом опоганенные розы и грезы.

Всё

на радость

нашим

глазам больших детей!

Мы возьмем

и придумаем

новые розы —

розы столиц в лепестках площадей.

Все,

у кого

мучений клейма нажжены,

тогда приходите к сегодняшнему палачу.

И вы

узнаете,

что люди

бывают нежны,

как любовь,

к звезде вздымающаяся по лучу.

Будет

наша душа

любовных Волг слиянным устьем.

Будешь

— любой приплыви —

глаз сияньем облит.

По каждой

тончайшей артерии

пустим

поэтических вымыслов феерические корабли.

Как нами написано, —

мир будет таков  
и в среду,  
                                и в прошлом,  
  и ныне,  
  и присно,  
и завтра,  
                                и дальше  
  во веки веков!  
За лето  
                                столетнее  
  бейся,  
  пой:  
— «И это будет  
                                последний  
  и решительный бой!»—  
Залпом глоток гремим гимн!  
Миллион плюс!  
                                Умножим на сто!  
По улицам!  
                                На крыши!  
  За солнца!  
  В миры —  
  слов звонконогие гимнасты!

И вот  
                        Россия  
  не нищий оборвыш,  
  не куча обломков,  
  не зданий пепел —

Россия  
                        вся  
  единый Иван,  
и рука  
                        у него —  
  Нева,  
а пятки — каспийские степи.

Идем!  
Идемидем!  
Не идем, а летим!  
Не летим, а молньимся,  
души зефирами вымыв!

Мимо  
баров и бань.  
Бей, барабан!  
Барабан, барабань!  
Были рабы!  
Нет раба!  
Баарбей!  
Баарбань!  
Баарабан!  
Эй, етальногрудые!  
Крепкие, эй!  
Бей, барабан!  
Барабан, бей!  
Или — или.  
Пропал или пан!  
Будем бить!  
Бьем!  
Били!  
В барабан!  
В барабан!  
В барабан!

Революция  
царя лишит царева званья.  
Революция  
на булочную бросит голод толп.  
Но тебе  
какое дам названье,  
вся Россия, смерчем скрученная в столб?!  
Совнарком —  
его частица мозга, —  
не опередить декретам скач его.  
Сердце ж было так его громоздко,  
что Ленин еле мог его раскачивать.  
Красноармейца можно отступить заставить,  
коммуниста сдавить в тюремный гнет,  
но такого  
в какой удержишь заставе,  
если  
такой  
шагнет?!  
Гром разодрал побережий уши,  
и брызги взметнулись земель за тридевять,



Чудно́ человеку в Чикаго!  
В Чикаго  
у каждого жителя  
не менее генеральского чин.  
А служба —  
в барах быть,  
кутить без забот и тягот.  
Съестного  
в чикагских барах  
чего-чего не начудено!

Чудно́ человеку в Чикаго!

Чудно́ человеку!  
И чу́дно!

В Чикаго  
такой свирепеет грохот,  
что грузовоз  
с тыщесильной машиною  
казался,  
что ветрится тихая кроха,  
что он  
прошелёстывал тишью мышиною.

Русских  
в город тот  
не везет пароход,  
не для нас дворцов этажи.  
Я один там был,  
в барах ел и пил,  
попивал в барах с янками джин.  
Может, пустят и вас,  
не пустили пока —  
начиняйтесь же и вы чудесами —  
в скороходах-стихах,  
в стихах-сапогах  
исходи́те Америку сами!

Аэростанция  
на небоскребе.

Вперед,  
пружиня бока в дирижабле!  
Сожмутся мосты до воробьих ребер.



из гущённого солнца кована.  
А с боков обойдешь —  
гора не гора!  
Верст на сотни,  
а может, на тыщи,  
За седьмое небо зашли флюгера.  
Да и флюгер  
не богом ли чищен?  
Тоже лестница там!  
Не пойдешь по ней!  
Меж колоночек,  
балкончиков,  
портиков  
сколько в ней ступеней  
и не счесть ступне —  
ступеней этих самых  
до чертиков!  
Коль пешком пойдешь —  
иди молодой!  
Да и то  
дойдешь ли старым!  
А для лифтов —  
трактиры по лестнице той,  
чтоб не изголодались задаром.  
А доехали —  
если рады нам —  
по пяти впускают парадным.  
Триста комнат сначала гости идут.  
Наконец дошли.  
Какое!  
Тут  
опять начались покои.  
Вас встречает лакей.  
Булава в кулаке.  
Так пройдешь лакеев пять.  
И опять булава.  
И опять лакей.  
Залу кончишь —  
лакей опять.  
За лакеями  
гуще еще  
курьер.



Курьера курьер обгоняет в карьер.  
Нет числа.

От числа такого  
дух займет у щенка-Хлестакова.  
И только  
уоставши  
от страшных снований,  
когда  
не кажется больше,  
что выйдешь,  
а кажется,  
нет никаких оснований,  
чтоб кончилось это —  
приемную видишь.

Вход отсюда прост —  
в триаршинный рост  
секретарь стоит в дверях нем.  
Приоткроем дверь.  
По ступенькам — (две) —  
приподымемся,  
взглянем,  
ахнем! —

То не солнце днем —  
цилиндрище на нем  
возвышается башней Сухаревой.  
Динамитом плюет  
и рыгает о нем,  
рыжий весь,  
и ухаает ухарево.

Посмотришь в ширь —  
йоркширом йоркшир!  
А длина —  
и не скажешь какая длина,  
так далеко от ног голова удалена!  
То ль заряжен чем,  
то ли с присвистом зуб,  
что ни звук —  
бух пушки.  
Люди — мелочь одна,  
люди ходят внизу,  
под ним стоят,  
как избушки.

Щеки ж  
 такой сверхъестественной мягкости,  
 что сами просятся —  
 придите,  
 лягте.

А одежда тонка,  
 будто вовсе и нет —  
 из тончайшей поэтовой неги она.  
 Кальсоны Вильсона  
 не кальсоны — сонет,  
 сажени из ихнего Онегина.  
 А работает как!  
 Не покладает рук.  
 Может заработать до смёрти.  
 Вертит пальцем большим  
 большого вокруг.

То быстрее,  
 то медленней вертит.  
 Повернет —  
 расчет где-нибудь  
 на заводе.

Мне  
 платить не хотят построчной платы.  
 Повернет —  
 Штраусы вальсы заводят,  
 золотым дождем заливает палаты.  
 Чтоб его прокормить,  
 поистратили рупь.

Обкормленный весь,  
 опóбненный.

И на случай смерти,  
 не пропал чтоб труп,  
 салотопки стоят,  
 маслобойни.

Все ему  
 американцы отданы,  
 и они  
 гордо говорят:  
 я —  
 американский подданный.

Я —  
 свободный  
 американский гражданин.



Ежеутренне

                  все эти  
  любимцы муз и слав  
нагрузятся корзинами,  
  идут на рынок

и несут,

          несут

                  мяса́,

                                  масла́.

Какой-нибудь король поэтов

                                  Лонгфелло

  сто волочит со сливками крынок.

Жрет Вильсон,

                                  наращивает жир,

растут животы,

                                  за этажом этажи.

                                  Небольшое примечание:

художники

                  Вильсонов,

                                  Ллойд-Джорджев,

  Клемансо

рисуют —

                  усатые,

                                  безусые рожи —

и напрасно:

                  всё

это

          одно и то же.

**Теперь**

          довольно смеющихся глав нам.

**В уме**

          Америку

                                  ясно рисуете.

**Мы переходим**

                                  к событиям главным.

**К невероятной,**

                                  к гигантской сути.

День

          этот

                  был

                                  огнеупорный.

В разливе зноя зѣмли тихли.  
Ветрѳв иззубренные бороны  
вотще старались воздух взрыхлить.  
В Чикаго

жара непомерная:  
градусов 100,  
а 80 — наверное.

Все на пляже.  
Кто могли — гуляли себе.

А в большей части лежали даже.

Пот  
благоухал

на их холеном теле.

Ходили и пыхтели.

Лежали и пыхтели.

Барышни мопсиков на цепочках водили,  
и  
мопсик

раскормленный был,  
как теленок.

Даме одной,

дремавшей в идиллии,

в ноздрю

сжаревший влетел мотыленок.

Некоторые вели оживленные беседы,

говорили «ах»,

говорили «ух».

С деревьев слетал пух.

Слетал с деревьев мимозовых.

Розовел

на белых шелках и кисеях.

Белел на розовых.

Так

довольно долго

все занимались

приятным времяпрепровождением.

Но уже

час тому назад

стало

кое-что меняться.

Еле слышное,

разве только что кончиком души,

дуновенье какое-то.

В безветренном море  
ширятся всплески.  
Что такое?  
Чего это ради ее?  
А утром  
в молнийном блеске  
АТА  
(Американское Телеграфное Агентство)  
город таким шарахнуло раджи  
«Страшная буря на Тихом океане.  
Сошли с ума муссоны и пассаты.  
На Чикагском побережье выловлены рыбы.  
Очень странные.  
В шерстях.  
Носатые».

Вылазили сонные,  
не успели еще обсудить явление,  
а радио  
спешные  
вывешивало объявления:  
«Насчет рыб ложь.  
Рыбак спяну местный.  
Муссоны и пассаты на месте.  
Но буря есть.  
Даже еще страшней.  
Причины неизвестны».

Выход судам запретили большие,  
к ним  
присоединились  
маленькие пароходные компанийки.

Доллар пал.  
Чемоданы нарасхват.  
Биржа в панике.

Незнакомого  
на улице  
останавливали незнакомые —  
не знает ли чего человек со стороны.  
Экстренный выпуск!  
Радио!  
Выпуск экстренный!  
«Радиограмма переврана.  
Не бурь раскат.

Другое.

Грохот неприятельских эскадр».  
Радио расклеили  
И, опровергая оное,  
сейчас же  
новое,  
последнее,  
захватывающее,  
сенсационное.  
«Не пушечный дым —  
океанская синева.  
Нет ни броненосцев,  
ни флотов,  
ни эскадр.  
Ничего нет.  
Иван».

Что Иван?  
Какой Иван?  
Откуда Иван?  
Почему Иван?  
Чем Иван?  
Положения не было более запутанного.  
Ни одного объяснения  
достоверного,  
путного.

Сейчас же собрался коронный совет.  
Всю ночь во дворце беспокоился свет.  
Министр Вильсона  
Артур Крүшп  
заговорился так,  
что упал, как труп.  
Капитализма верный трезор,  
совсем умаялся сам Крезю.  
Вильсон  
необычайное  
проявил упорство

и к утру  
решил —  
иду в единоборство.

Беда надвигается.  
Две тысячи верст.  
Верст за тысячу.  
Зá сто.  
И...

очертанья идущего  
нащупали,  
заметили,  
увидели маяки глазастые.

**Строки**  
этой главы,  
гремите,  
время ритмом роя!

**В песне —**  
миф о героях Гомера,  
история Трои,  
до неузнаваемости раздутая,  
воскресни!

Голодный,  
с теплом в единственный градус  
жизни,  
как милости даренной,  
радуюсь,  
ход твой следя легендарный.  
Куда теперь?

Где пещ?  
Какими идешь морями?  
Молнию рвущихся депеш  
холодным стихом орашим.  
Ворвался в Дарданеллы Иванов разбег.  
Турки  
с разинутым ртами  
смотрят:

человек —  
голова в Казбек! —  
идет над Дарданелльскими фортами.  
Старики улизнули.

Молодые на мол.  
Вышли.  
Песни бунта и молодости.

И лишь  
до берега вал домёл,  
и лишь волною до мола достиг —  
бросились,  
будто в долгожданном сигнале,  
человек на человека,  
класс на класс.



Одних короновали.  
Других согнали.  
Пешком по морю —  
и скрылись из глаз.  
Других глотает морская ванна,  
другими  
акула кровавая кутит,  
а эти  
вошли,  
ввалились в Ивана  
и в нем разлеглись,  
как матросы в каюте.

(А в Чикаго  
ничто не сулило пока  
для чикагцев страшный час.  
Изогнувшись дугой,  
оттопырив бока,  
веселились,  
танцами мчась.)

Замерли римляне.  
Буря на Тибре.  
А Тибр,  
взъярясь,  
папе римскому голову выбрил  
и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь.

(А в Чикаго,  
усы в ликеры вваля,  
выступ мяса облапив бабистый, —  
Илл-ля-ля!  
Олл-ля-ля! —  
процелованный,  
взголённый,  
разухабистый.)

Черная ночь.  
Без звездных фонарей.  
К Вильсону,  
скользя по водным массам,  
коронованный поэтами  
крадется Рейн,  
слегка посвечивая голубым лампасом.

(А Чикаго  
спит,  
обтанцован,  
опит,  
рыхотелье подушками выхоля.  
Синь уснула.  
Сопит.  
Море храпом храпит.  
День встает.  
Не расплатой на них ли?)

Идет Иван,  
сиянием брезжит.  
Шагает Иван,  
прибоями брызжет.  
Бежит живое.  
Бежит, побережит.  
Вулканом мир хорохорится рыже.  
Этого вулкана нет на  
составленной старыми географами карте.  
Вселенная вся,  
а не жалкая Этна,  
народов лавой брызжущий кратер.  
Ревя несется  
странами стертыми  
живое и мертвое  
от ливня лав.  
Одни к Ивану бегут  
с простертыми  
руками,  
другие — к Вильсону стремглав.  
Из мелких фактов будничной тины  
выявился факт один:  
вдруг  
уничтожились все середины —  
нет на земле никаких средин.  
Ни цветов,  
ни оттенков,  
ничего нет —  
кроме  
цвета, красящего в белый цвет,  
и красного,  
кровавящего цветом крови.





Ощупали.  
Есть.  
Готов.)

Доходит,  
пенной волну опеая,  
гигантам-домам за крыши замча,  
на берег выходит Иван  
в Америке,  
сухенький,  
даже ног не замоча.

(Положили Вильсону последний заклеп  
на его механический доспех,  
шлем ему бронированный возвели на лоб,  
и к Ивану он гонит спех.)

Чикагцы  
себя  
не любят  
в тесных улицах плóщить.

И без того  
в Чикаго  
площади самые лучшие.

Но даже  
для чикагцев непомерная  
площадь  
была приготовлена для этого случая.

Люди,  
место схватки орамив,  
пускай непомерное! —  
сузили в узел.

С одной стороны —  
с горностаем,  
с бобрами,

с другой —  
синевели в замасленной блузе.

Лошади  
в кашу впутались  
в ту же.

К бобрам —  
арабский скакун,



В ширь  
ворота Вильсону —  
верста,  
и то́ он  
боком стал  
и еле лез ими.  
Сапожищами  
подгибает бетон.  
Чугунами гремит,  
желёзами.  
Во Ивана входящего вперился он —  
осмотреть врага,  
да нечего  
смотреть —  
ничего,  
хорошо сложе́н,  
цветом тела в рубаху просвечивал.  
У того —  
револьверы  
в четыре курка,  
сабля  
в семьдесят лезвий гнута,  
а у этого —  
рука  
и еще рука,  
да и та  
за пояс ткнута.  
Смерил глазом.  
Смешок по усам его.  
Взвил плечом шитье эполетово!  
«Чтобы я —  
о господи! —  
этого са́мого?  
Чтобы я  
не смог  
вот этого?!»  
И казалось —  
растет могильный холм  
посреди ветров обываний.

Ляжет в гроб,  
и отныне  
никто,  
никогда,  
ничего  
не услышит  
о нашем Иване.

Сабля взвизгнула.  
От плеча  
и вниз  
на четыре версты прорез.  
Встал Вильсон и ждет —  
кровь должна б,  
а из

раны  
вдруг  
человек полез.  
И пошло ж идти!  
Люди,  
дома,  
броненосцы,  
лошади  
в прорез пролезают узкий.  
С пением лезут.  
В музыке.

О горе!  
Прислали из северной Трои  
начиненного бунтом человека-коня!  
Метались чикагцы,  
о советском строе  
весть по оторопевшим рядам гоня.

Товарищи газетчики,  
не допытывайтесь точно,  
где была эта битва  
и была ль когда.

В этой главе  
в пятиминутье всредоточены  
бывших и не бывших битв года.

Не Ленину стих умиленный.











«Сразите сразу»,  
новых воинов высылает рой —  
смертоноснейшую заразу.  
Идут закованные в грязевые брони  
спирохет на спирохете,  
вибрион на вибрионе.  
Ядом бактерий,  
лапами вшей  
кровь поганят,  
ползут за шей.  
Болезни явились  
небывалого фасона:  
вдруг  
человек  
становится сонный,  
высыпает рябь,  
распухает  
и лопается грибом.  
Двинулись,  
предводимые некою  
радугоглазой аптекою,  
бутыли карболочные выдвинув в бойницы,  
лазареты,  
лечебницы,  
больницы.  
Вши отступили,  
сгрудились скопом.  
Вшей  
в упор  
расстреливали микроскопом.  
Молотит и молотит дезинфекции цеп.  
Враги легли,  
ножки задрав.  
А поверху,  
размахивая флаг-рецепт,  
прошел победителем мировой Наркомздрав.  
Вырывается у Вильсона стон,—  
и в болезнях побит и в еде,  
и последнее войско высылает он,—  
ядовитое войско идей.  
Демократизмы,  
гуманизмы —





Загрохотав в международной Цусиме,  
эскадра старья пошла ко дну.

Фабриками попирая прошедшего труп,  
будущее загорланило триллионом труб:  
«Авелем называйте нас

или Каином,

разница какая нам!  
Будущее наступило!

Будущее победитель!

Эй, века,

на поклон идите!»

Горизонт перед солнцем расступился злюч.  
И только что

мира пол заклавший,

Каин гением взялся за луч,  
как музыкант берется за клавиши.

**История,**

**в этой главе**

**как на ладони бег твой.**

Голодая и ноя,

города расступаются,

**и над пылью проспектовой**

**солнцем встает бытие иное.**

Год с нескончаемыми нулями.

Праздник, в святцах

не имеющий чина.

Выфлажено все.

И люди

и строения.

Может быть,

Октябрьской революции сотая годовщина,

может быть,

просто

изумительнейшее настроение.

Разгоняя дирижабли небесам под уклон,  
поездами,

на палубах бесчисленных эскадр,

извилинами пеших колонн

за кадром выстраивают человеческий кадр.



Большеголовые,  
в красном сиянье,  
с Марса слетевшие, встали марсиане.  
Взыграет аэро,

и снова нет.  
И снова птицей солнце заслóнится.  
И снова

с отдаленнейших слетаются планет,  
винтами развеерясь из-за солнца.  
Пустыни смыты у мира с хари,  
деревья за стволом расфеерили ствол.  
На площади зелени —  
на бывшей Сахаре —  
сегодня

ежегодное торжество.  
День за днем спускались дни,  
и снова густела тьма ночная.  
Прежде чем выстроиться сумею,  
они  
грянули:

— Начинаем!

«Голоса людские,  
зверьи голоса,  
рев рек

ввысь славословием вьем.  
Пойте все, и все слушайте  
мира торжественный реквием.

Вам, давнишние,  
года проголодавшие,  
о рае сегодняшнем раструбливая весть,  
вам,  
миллионолетию давшие  
петь,  
пить,  
есть.

Вам, женщины,  
рожденные под горностаевые  
мантии,  
тело в лохмотья рядя,  
падавшие замертво,  
за хлебом простаивая  
в неисчислимых очередях.



А люди  
уже  
в многоуличном лоске  
катили минуту, весельем расцвеченную.  
Ну и катись средь песенного лада,  
цвети, земля, в молотье и в сеятье.  
Это тебе  
революций кровавая Илиада!  
Голодных годов Одиссея тебе!

1919—1920